

ПЁТР БОЛЬШАКОВ

БЕЛЫЙ АБАЖУР



Пётр Большаков

Белый абажур

<https://litres.ru/74438554>

SelfPub; 2026

Аннотация

Девочка собирает пазл без картинки. Камень на пианино молчит, но однажды скажет "да". Она танцует вальс с пустотой — и это не метафора. Пять глав о том, как не сломаться, когда тебя пытаются "спасти"

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПАЗЗЛ ИЗ ТИШИНЫ

4

Конец ознакомительного фрагмента.

22

Белый абажур

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПАЗЗЛ ИЗ ТИШИНЫ

Белый абажур пылится в углу. Никто не помнит, когда его включали.

Висит он здесь с незапамятных времён — во всяком случае, так говорит завхоз Семён Петрович, а он работает в детском доме с тех самых пор, как закрыли интернат для слабослышащих и перепрофилировали здание под «обычных» (слово-то какое — будто дети бывают обычными, как батарейки или скрепки канцелярские). Абажур висит, сказал Семён Петрович, потому что числится в инвентарной описи под номером сто сорок шесть дробь семь. «Прибор осветительный настенный, арт. АБ-2, цвет белый, 1 шт., инв. № 146/7». И пока этот номер существует в папке с надписью «Материальные ценности спального корпуса № 2», — абажур будет висеть. Даже если он ни разу не горел. Даже если проводка в этой части коридора отключена ещё при Брежневке. Даже если никто из нынешних детей не знает, что это вообще такое — потому что абажур похож на перевёрнутую

миску, а лампочки в нём нет, и провода нет, и выключатель давно покрашен тремя слоями эмали «Снежинка».

Но сегодня — январь. Или февраль. 1996 год. Сложно сказать. В этом коридоре всегда одно и то же время года — межсезонье. Меж надеждой и отчаянием, меж одним выпуском и следующим набором. Отопление работает вполсилы — ровно так, чтобы дети не мёрзли, но и не расслаблялись. Говорят, это норматив. Восемнадцать градусов в жилых помещениях. Плюс-минус. Чаще минус.

Здесь не пахнет домом. Здесь пахнет известкой, хлоркой и мокрой штукатуркой. Запах ровный, как температура, — ни сильнее, ни слабее. Он не раздражает. Он не успокаивает. Он просто есть — как всё остальное в этом здании. Как стены. Как окна. Как дети.

Если долго сидеть в этом запахе, перестаёшь его замечать. А потом перестаёшь замечать и себя. Это и есть главный навык, которому здесь учат, — не замечать. Не высовываться. Не пахнуть сильнее, чем положено.

Девочка сидит на полу.

Пол линолеумный, холодный, в мелкий серый рубчик. Когда моешь — вода затекает в трещины, и потом линолеум

пахнет сыростью ещё дня три. Она сидит, поджав под себя ноги в казённых колготках (толстых, хлопчатобумажных, с начёсом — носить до полного износа, получить новые под роспись, расписывается воспитатель), и раскладывает перед собой прозрачные кусочки.

Осколки? Нет. Не осколки. Осколки — это когда что-то разбилось. А тут другое.

В прошлом декабре (а может, в позапрошлом — она не считает декабри) в детский дом приезжали шефы. Какая-то строительная фирма. Привезли подарки: мандарины, шоколадные конфеты «Ласточка», пластиковые кубики для младшей группы и один странный набор для развития мелкой моторики. Пазл. Мозаика. Тысяча деталек из прозрачного оргстекла, разных форм: ромбики, треугольники, трапеции. На коробке была фотография: красивый витраж с павлином. Сине-зелёный, с золотыми прожилками. Очень яркий.

Коробку вскрыли — и внутри оказалось только прозрачное.

Никакого павлина. Никакой картинки-образца. Просто тысяча прозрачных деталек, похожих на леденцы, забытые на морозе.

Воспитательница Татьяна Леонидовна покрутила коробку в руках, заглянула внутрь и сказала:

— Халтура. Подсунули брак. Выбросить бы, да бумага на списание нужна.

Но девочка — та самая, что сидит сейчас на полу, — подошла и тихо попросила:

— Можно я возьму?

Татьяна Леонидовна удивилась. Эта девочка вообще редко что-то просила. Могла неделями молчать, отвечая только «да», «нет» и «спасибо» (спасибо — потому что положено, а не потому что благодарна). А тут — попросила.

— Зачем тебе? — спросила Татьяна Леонидовна скорее для порядка, чем из любопытства. — Картинки же нет.

— Я сама, — сказала девочка.

И взяла коробку.

Это было год назад — или два года. Она не считает.

Теперь каждый вечер, после обязательных занятий по са-

моподготовке и до отбоя (с семи до полдесятого — личное время, можно заниматься чем хочешь, если это не нарушает режим и не противоречит моральному облику воспитанника), девочка садится на пол в углу коридора, под белым абажуром, и раскладывает свои кусочки.

Она никогда не собирает их по-настоящему.

То есть — не соединяет.

Просто перебирает, раскладывает по формам, по прозрачности (некоторые чуть мутнее, некоторые — как стекло, совсем чистые), подносит к свету, смотрит сквозь них на окно, на абажур, на свои пальцы.

Сквозь один треугольник окно становится серебряным. Сквозь другой — небо за окном делается глубже, как будто вот-вот пойдёт снег. Сквозь третий — абажур расплывается молочным пятном, и кажется, что он светится.

Но он не светится. Проводки нет.

— С кем ты разговариваешь? — спросила однажды Любка из второго отряда. Любка старше на два года, у неё уже

грудь и джинсы с варёнкой, подаренные шефами. Она курит в туалете после отбоя и говорит, что после выпуска уедет в город и устроится в парикмахерскую.

— Ни с кем, — ответила девочка.

— А я слышала.

— Тебе показалось.

— Ничего мне не показалось. Ты сидишь тут как дура и шепчешь. И это... пазл твой тупой. Он же пустой.

— Это пазл из тишины, — сказала девочка и сама удивилась своим словам.

Она не планировала это говорить. Слова вышли сами — как вода, которую долго держали в ладонях, а потом пальцы разжались. И стало всё равно.

Любка фыркнула и ушла.

А девочка осталась.

Она ещё долго слышала, как Любка идёт по коридору. Шаги у Любки тяжёлые, уверенные — так ходят те, кто уже зна-

ет, куда идёт. У девочки шаги другие: лёгкие, вкрадчивые, как у кошки, которая не хочет, чтобы её заметили. Она научилась так ходить за три года. Может быть, за четыре. Она не считает.

Когда шаги Любки стихли, коридор стал ещё тише. Не мёртво тише — живо. Как будто кто-то задержал дыхание и слушает, что она будет делать дальше.

Она взяла кусочек — самый мутный ромбик — и поднесла к свету. Сквозь него коридор стал мягче. Не добрее — просто мягче. Как будто кто-то стёр резкие линии, оставил только пятна. Так видят мир, наверное, рыбы. Или люди, которые уже не боятся темноты.

Вечернее солнце (если это февраль, то солнце уже почти весеннее — долгое, косое, белое) падает на линолеум длинными прямоугольниками. Окно в конце коридора не закрывается до конца — створка перекошена, и в щель тянет холодом.

Когда стемнеет, придёт воспитатель и зажжёт верхний свет: длинные лампы дневного освещения, которые гудят и моргают, прежде чем загореться.

Но пока — светло.

Девочка берёт один кусочек. Треугольник. Самый прозрачный. Подносит к глазу — прямо близко, так что ресницы касаются пластика. И сквозь него смотрит на абажур.

Тот висит, неподвижный, пыльный, немой. Шёлк (или что там — какая-то синтетика под шёлк) пожелтел от времени. Складки забиты серой трухой. Это не пыль даже — это время осело на вещи, как налёт на зубах, как иней на ресницах.

Если бы абажур мог говорить, он бы рассказал.

Он рассказал бы, как до неё — лет пять назад, или десять, или двадцать — здесь жила другая девочка. Она верила, что свет бывает тёплым. Нет, не та, что сидит сейчас на полу, — а совсем другая, с рыжими косичками и смешной привычкой грызть кончик карандаша. Её звали, кажется, Аня. Или Таня. Или никак не звали — а просто числили в журнале под номером семнадцать.

И вот она, та девочка, однажды вечером (таким же, как сейчас, — долгим, межсезонным) стояла под этим абажуром и ждала.

Чего ждала?

Маму.

Ей сказали, что мама придёт. Что мама нашлась. Что мама оформила документы и теперь точно, стопроцентно, по-настоящему — заберёт её домой.

И она стояла — сначала просто так, потом в новом платье (перешитом из старого, но всё-таки новом), потом уже без платья, в обычной одежде, потом в пижаме. Она стояла каждый вечер неделю. Две. Месяц. Она верила, что если встать под этим абажуром и очень-очень захотеть — он загорится. И мама увидит этот свет, даже если заблудилась, даже если адрес потеряла, даже если просто забыла на минутку — и вспомнит, и найдёт, и придёт.

Абажур не загорелся.

Мама не пришла.

Девочку перевели в другой детский дом — для детей с задержкой психического развития. Потому что она перестала разговаривать. Совсем. Только стояла под абажуром и смотрела вверх — на мёртвую лампочку, на пожелтевший шёлк, на пыль.

И у неё было имя — Аня или Таня, — но никто его не помнит.

А абажур помнит.

Он висит и помнит всё.

Девочка опускает прозрачный треугольник.

Она не знает историю про ту, другую. Она вообще не уверена, что та существовала. Ей это не рассказывали — такие вещи не рассказывают. В детском доме вообще не очень-то принято рассказывать. Истории тут бывают только в книжках, и то — с обязательным списком для внеклассного чтения.

Но что-то она чувствует. Не умом — телом. Воздух в этом углу плотнее. Пыль пахнет иначе — не только известкой и хлоркой, но и чем-то ещё. Может, слезами. Может, надеждой, которая застоялась, как вода в банке, и протухла.

Она откладывает треугольник.

Берёт другой кусочек. Ромбик. Чуть мутноватый. Смотрит сквозь него на свои пальцы.

Пальцы у неё тонкие и бледные. Ногти обкусаны — это считается дурной привычкой, и за неё стыдят на линейке. Она не грызёт ногти от нервов. Просто иногда хочется что-нибудь разрушить — ну хотя бы край ногтя. Хотя что-то, что принадлежит только ей.

Если разрушать себя — никто не накажет. За порчу казённого имущества — выговор или штраф воспитателю. За порчу себя — просто запишут в карту: «Склонность к аутоагрессии. Рекомендована консультация психолога».

Она кладёт ромбик к треугольнику. Пока не соединяет.

Она никогда их не соединяет.

Зачем? Чтобы получилась картинка, которой нет? Чтобы выложить павлина, которого не существует? Чтобы собрать витраж, который рассыпался ещё до того, как его придумали?

Нет.

Она собирает другое. Она собирает пазл из тишины.

Каждый кусочек — это минута молчания. Не того молчания, которое на школьной линейке, где все стоят, переминаясь с ноги на ногу, и никто не молчит по-настоящему — они думают о котлетах на ужин. А другое молчание — иное.

Тишина внутри неё.

Она научилась её добывать, как другие дети учатся добывать деньги или внимание. Молчишь — и система перестаёт тебя замечать. А если система перестаёт замечать — у тебя появляется свобода. Маленькая, с ноготок, но свобода.

Однажды (это было в октябре или ноябре — шёл дождь, и на стёклах застывали капли) пришла новая проверяющая. Из администрации города, кажется. Или из министерства. Или откуда-то ещё — она не знала, есть ли между ними разница.

Проверяющая была молодая, в очках, пахла духами — резко и сладко, так что першило в горле. Она ходила по спальным корпусам, заглядывала в тумбочки, проверяла количество постельного белья и наличие мыла в мыльницах. И, проходя по коридору, увидела девочку.

Девочка как раз сидела на полу под абажуром.

— А ты почему не на самоподготовке? — спросила проверяющая. Голос у неё был бодрый, хорошо поставленный, как у ведущей детских утренников.

Девочка подняла глаза.

— У меня личное время.

— А чем ты занимаешься?

— Собираю.

— Что?

— Пазл.

Проверяющая присела на корточки (юбка натянулась на коленях, запах духов стал сильнее) и заглянула в коробку.

— Ого, какой интересный! А где картинка?

— Нет картинки.

— Как это — нет? А как же ты собираешь?

— Так.

Проверяющая взяла кусочек. Повертела. Положила обратно.

— Так нельзя, — сказала она. — Должен быть образец. Иначе это не игра, а... ерунда какая-то.

Девочка молчала.

— Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? — спросила проверяющая уже другим тоном, не бодрым, а озабоченным. — Ты сидишь в углу, перебираешь какие-то стёкла. У тебя нет задачи. Ты не развиваешься. Это пустое занятие.

— Почему пустое? — спросила девочка.

— Потому что у него нет цели.

Девочка взяла кусочек. Самый прозрачный. Поднесла к свету.

— Цель — покой, — сказала она тихо.

Проверяющая помолчала. Потом встала, отряхнула юбку

и сказала куда-то в сторону — видимо, воспитательнице, которая стояла рядом и нервно теребила ключи:

— Запишите её к психологу. И проверьте, не режет ли она себя этими стёклами.

И ушла.

Воспитательница Татьяна Леонидовна вздохнула.

— Ну вот, — сказала она. — Теперь будет проверка. И всё из-за тебя. Не можешь как все? Вязала бы, что ли. Другие девочки вяжут.

Девочка не ответила.

Она думала о слове «пустое». Проверяющая сказала: «Это пустое занятие». Имея в виду — бессмысленное. Но девочка слышала иначе.

Пустое — значит, наполненное пустотой.

А пустота — это единственное, что у неё по-настоящему своё.

Вот так она и живёт. День за днём. Месяц за месяцем. Коробка почти полная — она никогда не теряет кусочки, в отличие от других детей, которые растеряли бы половину в первый же день. Она бережёт их. Промывает под краном с мылом раз в неделю. Сушит на подоконнике, разложив на полотенце.

Она знает каждый в лицо.

Этот — треугольник с микротрещиной внутри. Этот — квадратик с оплавленным краем (брак, наверное, но она любит его больше других — он тёплый на ощупь). Этот — ромбик, самый мутный, почти молочный, и если смотреть сквозь него на лампу дневного света — лампа перестаёт гудеть. Не на самом деле, конечно. Просто тишина становится громче.

Про тишину она знает много.

Тишина бывает разная.

Есть мёртвая тишина — она наступает, когда выключают свет в спальне и все уже поплакали и уснули. В этой тишине страшно — но не из-за темноты, а из-за того, что ты вдруг понимаешь: ты совсем один. И никто не придёт. И завтра будет то же самое.

А есть живая тишина. Она приходит, когда садишься на пол под белым абажуром и начинаешь перебирать прозрачные кусочки. Она не глухая — она звонкая. В ней слышно, как падает капля из крана в умывальнике (кап-кап-кап — как сердце, только медленнее). В ней слышно, как шуршат колготки, когда меняешь позу. В ней слышно собственное дыхание — и это не страшно, а интересно: вот он, ты, живой.

Эту тишину она и собирает.

Кусочек за кусочком. Минута за минутой. Вечер за вечером.

Пока однажды вечером (это случилось совсем недавно — может быть, вчера, а может быть, сегодня утром, потому, что время в этих стенах идёт нелинейно) она не поняла, что картинка всё-таки есть.

Она просто раньше не видела её.

Картинка была не на коробке.

Она была — сквозь кусочки.

Сквозь них было видно другое: не павлина с золотыми

прожилками, а мир, который существует за пределами этого коридора, этого детского дома, этого города, этой жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.